

К. Н.
ЛЕОНТЬЕВ

Сочинения



Константин Леонтьев
Аспазия Ламприди

«Public Domain»

1871

Леонтьев К. Н.

Аспазия Ламприди / К. Н. Леонтьев — «Public Domain», 1871

«...Один день все было поверили, что разбойникам пришел конец. С эллинской границы дали знать на ближайший военный турецкий пост, что шайка Салаяни перешла границу и преследуется греческими войсками. Греческий офицер предлагал турецкому захватить шайку в лесу с двух сторон. Турки вступили в лес; офицер турецкий шел впереди и высматривал; разбойники выстрелили и убили его и одного солдата. Воодушевленные гневом, турки ринулись в кусты; разбойники отступили, отстреливаясь; турки все шли вперед, надеясь на поддержку греческого войска, которое должно было быть в тылу у разбойников...»

© Леонтьев К. Н., 1871

© Public Domain, 1871

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| I | 5 |
| II | 10 |
| III | 13 |
| IV | 16 |
| V | 22 |
| VI | 24 |
| VII | 27 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 28 |

Константин Леонтьев

Аспазия Ламприди

Греческая повесть

І

Алкивиад Аспреас был родом из Корфу, но учился в Афинах и там провел последние годы. Ему было не более двадцати пяти лет, когда он задумал посетить Эпир и посмотреть, как живут его братья греки под турецкою властью.

С детства он слышал вокруг себя разговоры о православии, о турецком иге, о просвещенном деспотизме Англии, о ненавистной ионийцам римской пропаганде. Чаще всего слышал он дома о дальней великой холодной стране, где царствует мощный царь, которого боятся другие государи, где весь народ молится так же, как молится его старый отец, где войску и церквам нет числа, и привыкал думать, что лишь бы захотел этот царь, лишь бы тронулось это несметное войско, то и красных мундиров не осталось бы на живописной эспланаде нашего города, не осталось бы и тех свирепых людей, которых дикий берег высится за морем так близко от Корфу, ни даже проповедников в черных мантиях и широких шляпах, с лицами недобрыми и язвительными, которые жаждут вреда православной церкви.

Недалеко от Корфу, на горе, есть селение Гастури. По прекрасному шоссе коляска мчит к нему чужеземца сквозь нескончаемый лес маслин.

Когда бы кто ни посетил это селение, – во всякий час дня – он увидит у кофейни толпу одних и тех же молодых и старых мужчин, с усами, в соломенных шляпах и голубых шальвах... Они курят или пьют умеренно, или беседуют у порога кофейни...

Одни и те же высокие, полногрудые молодые женщины, осторожно спускаясь по камням, живописно несут кувшины с водой на головах, убранных белым покрывалом и косами, перевитыми красным... Как будто одни и те же старушки работают у дверей своих пустых и бедных каменных жилищ... Те же дети, румяные и веселые, бегут за коляской больше часа и кричат: «Пол-овола, пол-овола, эффенди!» Те же отроковицы подают вам молча маленькие букеты цветов и душистых травок...

Работы этим людям мало.

– Оливковое дерево, государь мой, есть злейший враг индустрии! Оно само кормит лентяя! – говорит ученый грек.

И крестьянин-иониец сознается в том же, только гораздо милее ученого грека.

– Бог и деревья неравными сделал, – говорит он. – Есть деревья глупые, и есть хитрые деревья. Маслина, синьор мой, дерево глупое. Посадил его хоть бы дед мой, и никто у нас больше не смотрит за ним. Сделай раз на склоне горы около него небольшие грядки, чтобы маслины, когда будут падать, не укатывались далеко – и сядь. Глупое дерево, без всякой работы, само тебе все дает. Иное дело виноград; это дерево лукавое и умное; убивайся над ним каждый год и убивайся много, иначе и не жди от него плода. И еще иной нрав у апельсинного дерева. Работы оно много не ищет; оно хочет любви и ласки. Любишь ты его, синьор, и оно тебя любит. Ласкай его, смотри за ним, полей, когда нужно, береги его, и оно тебе даст доход... Не люби, и дохода не даст, не полюбит тебя!

Около этой живописной деревни Гастури, которую первую изо всех деревень Корфу всегда узнает путешественник, был дом и земля старика Аспреаса, отца Алкивиада.

Прежде старик был богаче, но потом несколько обеднел. «Глупое дерево» хоть и не требует ухода, но по глупости же своей иногда даст обильный доход, иногда же подряд много лет

почти ничего не дает. Настали неурожайные годы. Иного земледелия на острове почти нет; он весь – сплошная оливковая роща.

Земли своей у крестьян почти нет; они обязаны собирать оливки помещику и за это берут себе половину сбора. Что ж было делать, когда грядки под деревьями уже столько лет стояли пустыми? Потом пришли другие невзгоды; неудачные торговые обороты. Старшая дочь вышла замуж за афинского грека, и ей надо было дать хорошее приданое. Старший сын подрастал – его хотелось, по примеру других архонтов, послать учиться или в Европу, или хоть в Афинский университет. Были и другие дети.

Пробил час прений об избрании Альфреда и о присоединении к Элладе семи островов.

Старик Аспреас ненавидел «красных дьяволов» хуже чем турок. Не любил их гордость, говорил, что они развращают простой народ тем, что соряют деньгами, приучая даже малых детей бегать за экипажами, когда дома есть кусок хлеба; не признавал заслуг Каннинга, утверждая, что фил-эллином он никогда и не был, а дал Наваринскую битву, чтобы только Россия не одна спасла Грецию и не была в ней потом всемогущей; не мог простить англичанам дело жида Пачифико, смерть Каподистрии и севастопольский погром.

Во все время, пока шли на островах прения о том: отказаться ли от протектората? присоединиться ли к Греции или нет? – старик Аспреас трудился, уговаривал, подкупал даже, не жалея средств, подвергался опасностям, лишь бы только не видать больше «красных дьяволов», которые, сверх политических преступлений своих, не верят и в святость мощей Св. Спиридона, покровителя моряков и заступника корфиотского, – Св. Спиридона, которому и турки проезжие поклоняются и дают дары.

Дело кончилось так, как этого желал старик: «красные мундиры» ушли. Но после их ухода он стал еще беднее. Расходы во время подачи голосов были велики. Демократическая Эллада дала больше прав и больше независимости крестьянам, живущим на помещичьей земле. Доходы стали еще меньше; торговля острова упала; дороги начали портиться.

Старик вздыхал, но не роптал.

– Пусть только «Господи помилуй» (так звал он Россию) будет крепок; все поправится. Пусть только вагабонда-Наполеона прогонят, да варвара Агу спровадят туда, откуда принес его сатана за наши грехи... тогда и торговля будет, и порядок, и мир, и согласие, и все хорошее на земле.

– Да что же вам за дело до русских? Русские далеко, – спрашивали его люди.

– Греко-российской церкви мы поклоняемся, ты знаешь это, человеце! – отвечал старик.

У такого отца вырос в доме Алкивиад. Старик, как и все пожилые люди в Корфу, какого бы они ни были звания, был страшный руссофил.

Таких людей много на семи островах. И многие молодые люди делят их убеждения. Долгое занятие островов русскими войсками оставило там прекрасное воспоминание. Имена Ушакова и других генералов русских живут в памяти людей и до сих пор. Одна из улиц, выходящих на Красную площадь Корфу, зовется «одос Ушаков» – улицей Ушакова.

До прибытия русских в Корфу не было православного епископа. Русские учредили епископскую кафедру в Корфу. В первый раз в конце прошлого столетия корфиоты ясно почувствовали, с прибытием русских, что они точно греки, а не венецианцы. Они увидели, как гордые русские начальники чтит православную церковь и как смиренно молились в ней страшные русские солдаты.

Самые солдаты эти были страшны только на первый вид. Они были добрые и простые люди. Звали греков «брат»; любили выпить и песню спеть; боялись и слушались начальства...

Случалось, что русские и наказывали корфиотов телесно, но «они и своих за беспорядки наказывали еще строже», – говорят корфиоты.

Живут и теперь в городе Корфу два старика, один бедный, а другой богатый. Богатому уже под девяносто лет; бедный гораздо моложе. Богатый не знатен, он разжился торговлей; бедный из старой семьи.

Богатый скуп до того, что его раз нашли полумертвым от голода на кровати. Слуг он не держит, дверь была заперта, и доктора, чтобы спасти его, взошли в окошко по лестнице; с тех пор он стал есть побольше.

Он ходит всегда не шевеля руками и отставляет их подальше от тела, потому что портной раз сказал ему, что рукава под мышками дольше не рвутся у тех, кто так ходит. Никто не слышал и не видал никогда, чтоб этот человек заплатил в кофейне за чашку кофе или за стакан лимонада. Однажды он упал на улице в обморок от слабости (а может быть, и от голода); бежались на помощь люди; старик казался почти бездыханным. Кто-то закричал из толпы:

– Отвезти его в наемной коляске домой. Старик встрепенулся.

– Дойду пешком, – прошептал он, – помогите мне немного. Зачем платить за коляску.

У него нет ни привязанностей, ни страстей. О родных, которые далеко, он не думает. Проценты с капитала своего навеки он хочет завещать бедным за упокой своей души... Но у него есть одна страсть, одна святыня – Россия.

Поутру и вечером, вставая и ложась, он прежде молится за свою душу, а потом за Россию. Он бледнеет и шипит как змея, когда слышит порицания русским или России. Когда бы он не был чуть жив от слабости, он бил бы «негодяев», которые смеют осквернять даже в шутку эту святыню...

– А Эллада? – говорят ему.

– Дьявол ее возьми! – шипит злобно старик. Другой старик гораздо моложе. Он бедно одет, но бодр, страстен и подвижен. Его вы встретите везде: и в церкви, и в кофейне, и на прогулках; он следит за политикой, за газетами, спорит громко на улицах; шумит и бранится!..

Одно воспоминание о Западной Европе возбуждает его гнев... Молодые люди, даже мальчишки простые на улицах знают его страсть к России и затрогивают его.

– Чорт бы побрал Россию! – шепчет ему мальчишка... и бежит далеко. Иначе им было бы плохо. Случалось, что он бросался и на взрослых людей в кофейнях за подобные слова, которых он даже и в шутку не сносит...

Но, быть может, только эти два чудака без веса и силы думают так? Едва ли! Вот идет, обнажив саблю перед ротой, под звуки музыки, лихой и солидный офицер с русой эспаньолкой. За ротой спешит народ, идут и хорошо одетые люди, и не нарадуются на своих солдат! Впереди, перед музыкантами, маршируют в такт оборванные мальчишки, свищут, вторят маршу, и один за другим от радости катаются колесом перед войском... Что думает этот бравый офицер с обнаженною саблей? Он читает по вечерам предсказания «Агафангела»¹ о «новом государе французском, который ведет на бойню безумных французов»... «И ты, хитрая лисица (Англия), потеряешь свой хвост!» – говорит «Агафангел». «И царству агарян будет конец, когда белокурое племя вступит в Царьград и отыщет для христиан нового царя Иоанна, который спит теперь за невидимую дверь в Святой Софии...»

Старый граф Ионийский, у которого такое прекрасное имение с садом и цветами на берегу моря и который часто гуляет до полуночи в тени аллеи по эспланаде, «Агафангела» не читает; он верит в Англию; но верит он в нее не иначе, как в соглашении с русскими.

Эти молодые щеголи, которые шумят по кофейням, с небрежностью крестясь, входят лишь на минуту в церковь Святого Спиридона и возмущают своим видом набожных людей; о чем они думают? Они думают больше всего о любовницах своих, конечно, и о том, будет ли зимой в Корфу итальянская опера, но они приветствуют криками радости, бьют в ладоши

¹ «Агафангел» – книжка, в которой собрано множество разных предсказаний о событиях европейской истории. Она очень распространена на Востоке.

на улице при каждой новой вести о поражении французов. Отчего они рады победам пруссаков? Какое добро сделали им Бисмарк и Германия? Не Бисмарк и не Германия радуют их... Радует их иное. Ошибочно или нет, но они видят вдали за германскими триумфами иную тень: грозную тень Восточного вопроса! Их радует, что люди простые шепчут друг другу: «Разница между Пруссия и Россия одна буква П. Наша Ольга племянница русскому государю и внучка государю прусскому. Нам только это и нужно».

Поэтому о прусских бомбах кричит и остряк-продавец холодной ключевой воды, который душным вечером возит по площади между гуляющими свою тележку, разубранную зеленью.

– Вот они, прусские бомбы, послушайте, как летят, – кричит он, чтобы в темноте люди поняли, что тележка с ключевой водой недалеко.

Похолодело время, он бросил воду и поставил раек на площади.

– Идите, смотрите, – кричит он, – как французы бегут из России в тысяча восемьсот двенадцатом году!

Вот идет видный, пожилой мужчина, одетый со вкусом; он богат, он не раз был министром. Он враг России, говорят... Пусть проходит он мимо! Все зовут его жидом и никто его не уважает.

Дороже его стократ эти бедные мальчики, которые катаются колесом перед военной музыкой, когда она идет утром в королевский дворец. И в их сердцах зарождаются семена будущих чувств, и они уже знают по опыту, как выгодно продавать на площади те телеграммы, в которых есть новые слухи о русской политике на Востоке... Они видят, что ту телеграмму, в которой более печаталось о России и Греции, разослали хозяева не на простой бумаге, а с изображением богини Афины в заглавии. Нет нужды, что мальчики эти не знают, кто была Афина. Они видят и понимают в ней молодого воина в шлеме, готового к битве. Отец Алкивиада не подвергался шуткам, как подвергаются иногда те два старика руссофилы; вес его в городе был велик; одна англичанка путешественница, которую он повел смотреть город, удивлялась: сколько люди кланяются ему и скольким он должен ответить.

– Вам нужно шесть шляп каждый год. У вас поля шляпы, я думаю, рвутся, – сказала она ему.

Голос его был во всех делах одним из первых, и на всех официальных празднествах, на всех церковных процессиях, на всех дипломатических обедах старик Аспреас являлся одним из главных представителей города.

Седой, спокойный, здоровый, с веселым и добрым лицом, с седыми усами, в хорошем черном фраке, с кавалерским крестом Спасителя и тем медным геройским крестом, который раздавался по окончании войны за независимость Греции тем, кто принимал в ней участие, старик Аспреас внушал всем уважение, и самая речь его, простая, тихая, даже однообразная, в которой светился сквозь все один и тот же стих, один и тот же припев: «Греко-российской церкви мы поклоняемся», приятно действовали и на тех, кто не был глубоко убежден, как он.

Восемнадцати лет Алкивиад простился с отцом и уехал учиться в Афины... Чрез год он вернулся на лето к отцу уже иным...

Сперва он стал англоман, а потом туркофил какого-то особого рода...

Отец слушал его сначала с удивлением, потом с гневом, потом уже снисходительно и с пренебрежением.

– Молодость и глупость: пройдет молодость, пройдет с нею и глупость, – говорил почтенный человек, и так был спокоен и светел, так радостно глядел в глаза собеседнику, что и тому казалось на миг «все это вздором», казалось, что вся политическая мудрость, вся дальновидность, вся история борьбы Востока и Европы заключаются в одном простом слове старого архонта: «Греко-российской церкви мы поклоняемся, человече!»

Алкивиад любил отца, чтит его как благородного патриота и никогда не спорил с ним грубо. Но так же, как отец весело улыбался говоря о сыне, так и сын улыбался говоря об отце.

– Бедный отец! – восклицал он с чувством любви и уважения. – Бедный отец! Он еще все от России ждет чего-то... Времена Ушакова еще не миновали для него. Бедный отец!

II

Сестра Алкивиада, которая была замужем за афинским греком и жила всегда в Афинах, была женщина умная, ученая и красивая, хорошая мать и честная супруга. Ее упрекали лишь в трех недостатках: в том, что брови ее были уже слишком густы и мужественны; в том, что она была очень честолюбива и за себя, и за мужа, и за брата, и за всех близких ей; а иные еще в том, что она любила писать и говорить иногда уже слишком высокопарно, без нужды.

Но в этом последнем упрекали ее очень немногие. Нынешние образованные греки более похожи на риторов времен падения древнего мира и на византийцев, чем на эллинов времен Платона и Софокла.

Мать Алкивиада умерла, едва родив его, и первые заботы о младенце выпали на долю сестры, которая тогда уже была взрослою девушкой. Поэтому брат сохранил к ней сыновнее чувство, которое и впоследствии поддерживалось ее умственным влиянием на него и тем увлечением, которое внушал брату ее патриотизм и образованность. Он гордился сестрой пред другими. Еще при королеве Амалии она ездила ко двору, и хотя уже и тогда ей было лет тридцать, однако и муж и брат гордились ею, когда она в торжественных случаях выходила пред людьми с длинным шлейфом, со своими строгими бровями, римским носом, в маленькой феске набекрень и в бархатной греческой куртке, расшитой золотом, одетая так, как одевалась сама королева.

«Богиня, – шептали люди, – Афина Паллада! Нет, не Паллада; это Бобелина!» И Алкивиад слышал этот шопот и радовался и еще больше слушался сестры.

Она отсоветовала ему учиться медицине. «Что за поприще для тебя, мой друг, быть врачом? – говорила она ему. – Поприще без простора, без повышений. Посвяти себя политическому поприщу. В свободной стране, подобно нашей Элладе, на какую высоту, скажи мне, не открыт блестящий путь государственному мужу?»

Алкивиад занялся законодательством и бросил медицину.

Сестра нанесла первый удар его прежним детским убеждениям.

– Что общего, – говорила она, – между русским кнутом и благородною эллинскою нацией? между деспотизмом и свободой? между скифским северным мраком и грацией Юга? Эллины призваны во имя свободы, во имя всего священного положить пределы распространению славянского великана на Юг и Восток. Эллины призваны рабить глиняные ноги этого мрачного кумира, которому поклонялось до сих пор наше невежество... Эллин и только эллин, никто другой, должен рассеять по Востоку лучший цвет европейского просвещения.

Муж сестры Алкивиада мало имел влияния на молодого человека. Он был толстый, здоровый, довольно богатый и лукавый простак. Любил жену, любил детей, любил попить. Был не лишен трудолюбия, опытности в делах и здравого смысла. Увлечь, обмануть его никто не мог; но и он зато не в силах был никого увлечь. Мнений он определенных не имел; соображался с обстоятельствами и очень удачно, благо даря правилу: «спеши медлительно!» Занимал в течение жизни своей много разных должностей, избегая крушения нередко там, где не спасали ни даровитость, ни патриотизм, ни красноречие, ни смелость, ни связи.

Восхваляя при случае (и как нельзя солиднее и спокойнее) эллинскую свободу, конституцию и равенство и всю прелесть политических прений и борьбы, он обеспечил себя и семью свою исподволь капиталом в деспотической России и варварской Турции, подальше от конституции, от равенства и блестящих прений. Жена его в этом была согласна с ним и восклицала: «Все экономические вопросы я предоставляю мужу! Это его часть».

Так жил себе хорошо в Афинах усатый, здоровый толстяк; никого не боялся и, несмотря на то, что ездил ко двору и сносился с посланниками, дома жил просто и умеренно, стараясь показать, что он старинный и простой человек, который ни в ком не нуждается.

«Нашу Палладу надо изображать не с совой, а с медведем!» – говорили остроумцы и звали его «турком», «Агой», до тех пор, пока один молодой человек не прозвал его еще злее по-турецки «Гайдар-эффенди». (Гайдарос по-гречески значит осел.)

Алкивиад терпеть не мог своего зятя, хотя жил у него в доме; никогда с ним не спорил и занимал иногда по молодости у него деньги. Но у толстого Гайдар-эффенди был двоюродный брат Александр – Астрапидес.

Он был еще молод, хотя и много постарше Алкивиада, и славился красноречием, умом, отвагой и красотой. Астрапидес подружился с Алкивиадом и dokonчил то, что начала сестра. Из руссофила молодой студент постепенно стал пылким приверженцем английской партии.

И точно, Астрапидес был увлекателен и даровит.

Красивая наружность его была такова, что встретить его в горах с глазу на глаз и не зная, кто он, едва ли было приятно и храброму человеку.

Казалось, модный фрак, лакированные сапоги и французские перчатки его были на нем не одеждой, а лишь минутным костюмом необходимости, и, когда он взглядывал своим взглядом и блестящим, и любезным, по нужде и свирепым, когда его недобрая душа просилась наружу, казалось, что спадут с него сейчас и модный фрак, и перчатки, и шляпа... и вместо оратора и светского человека предстанет пред смущенным собеседником неукротимый и алчный горец в фустанелле, забрызганной кровью... и положит руку на золотой пояс, за которым уже сверкает ятаган.

И борода у Астрапидеса была густая, черная, и походка отважная, и голос громкий, и рост высокий. Алкивиада он любил, однако, искренно, и при встречах с ним и взгляд его становился благодушнее, и голос ласковее, и шутки его с Алкивиадом были шутки брата, а не коварного приятеля.

Астрапидес перепробовал с ранних лет свои силы на разных поприщах. Был военным, был депутатом, издавал два раза журнал, статьи писал всегда, и писал прекрасно, сильно и без всяких украшений риторства. Впав в одно время в нужду, вследствие того, что в течение двух, трех месяцев пало, одно за другим, до пяти министерств, он не побрезгал торговать макаронами и канатами.

Он принимал участие в движении против короля Отгона тогда, когда еще такое участие было очень опасно, когда еще не знал никто, что это рискованная игра кончится так легко и просто...

Астрапидес в последнее время стал приверженцем Англии и в статьях своих, и в самых секретных разговорах своих с друзьями.

В последнее время, после неудачных исходов критского восстания, он понемногу стал прибавлять к англomanии и свою новую мысль о сближении Эллады с Турцией, для совокупного действия против «всесокрушающего потока панславизма». Вся прошедшая история новой Греции была для него заблуждением и несчастьем. Он оправдывал Мавромихали в убийстве Каподистрии, порицал охотников-греков, которые сражались за русских в Крыму; проклинал Россию за ее непрошенную дружбу и услуги, которые заслужили в Греции название русской батареи, направленной против Турции и Европы.

Он находил возражение на все. Естественные сочувствия корфиотов высшего круга к России он приписывал их аристократическим привычкам, их воспитанию, сходному, по его словам, с русским, основанному на рабстве и обязательном труде поселян, их ханжеству, их любви к церковным обрядам и процессиям.

Однажды Астрапидес вместе с Алкивиадом, в один из тех прекрасных и сухих зимних дней, которыми так богата Аттика, сидели в Акрополе, на ступенях Пропилеи.

Астрапидес говорил о великом будущем новой Греции, о «великой идее».

Печальное сомнение закралось на миг в душу Алкивиада, и он, желая, чтобы Астрапидес убил в нем это сомнение, сказал ему:

– Возрождаются ли народы в третий раз? Мир имел Грецию Фемистокла и Сократа; имел византийское государство... Может ли повториться Византия снова?..

– Не Византия попов и деспотических государей! – воскликнул Астрапидес. – Греция – истинной демократии и чистого деизма. Каир,² может быть, явился минутным провозвестником этого будущего. Друг мой! скажи мне, где в Европе найдешь ты это полное жизни соединение равенства и свободы? Франция – страна равенства, но не пример свободы; Англия – страна свободы, но не в ней должен изучать мудрец законы развития гражданского равенства. Только здесь (Астрапидес указал рукой на веселый город, который без звука двигался и жил у ног их), только здесь и в Америке эти два великие принципа вступили в возвышенную гармонию...

Что общего, мой друг, между этою светлою, благородною Грецией и мрачным Арима-ном Севера? Их духовная связь – плод невежества толпы, для которой колокольный звон еще дороже простых и возвышенных идей, доступных нам с тобою. Примиримся с Турцией; вернем ей доверие нашею умеренностью, нашею искренностью, и ты увидишь плоды этого раньше, чем думаешь... Наш образ мыслей быстро проникает в умы греков, подвластных султану. Та же самая Россия, увлекаемая событиями, поддержит права христиан и будет склонять Турцию к новым реформам. Запад, чтобы не уступить первенства, будет делать то же; утроит, учетверит число христианских пашей в странах, подвластных Турции; вооружатся, под знаменем султана, христианские полки; тогда я первый возвышу голос за что хочешь, я готов буду сказать: пусть Эллада свободная присоединится к Турции... Мы потопим Турцию; не ленивому турку, не болгарину, не грубому сербу, не легкомысленному валаху бороться с эллином духовно. Духовное, умственное влияние будет за нас. Над этою обширною ареной, открытою греческому уму и греческой энергии до рокового часа, будет носиться безвредная, бессильная тень исламизма, некое подобие власти, которое нам будет необходимо до этого рокового дня и часа, чтобы завоевать себе доверие Европы и чтобы дать отпор тем грубым славянским началам, которых пока еще много в Турции, вследствие нашего невежества, вследствие нашей лжи, наших же ошибок, нашего безумия, бестактного революционерства, ложной основы православных сочувствий...

Тогда Алкивиад понял, что для Астрапидеса Англия и Турция – не что иное, как более верные орудия эллинского прогресса, чем Россия и православие.

Скоро и он стал проповедывать то же и так горячо, что даже сестра его стала расходиться с ним. Она согласна была в основаниях, но с трудом допускала, чтобы тем можно было увлечь народ до сближения и союза с турками.

² Каир, Каирос – известный в Греции деист; он основал, после освобождения эллинов, школу, где проповедывал чистый деизм. Стечение учеников было большое, и греческое правительство принуждено было закрыть ее.

III

У Астрапидеса было имение в Акарнании, довольно хороший дом, бараны и небольшие посеы.

Во время выборов Астрапидес всегда уезжал туда; он пользовался большим влиянием на селян, и в Афинах многие обвиняли его в тайных сношениях с разбойниками.

Иные говорили, что он получает деньги от англичан; а другие подозревали, что между англичанами, Астрапидесом и разбойниками существует тайная связь, но так, что каждый ищет обмануть другого. Англичане желают, с одной стороны, иметь за себя в печати и на выборах даровитого и энергического деятеля, а с другой – очень рады, чтобы в Греции не прекратились безначалие и разбои. Разбойники ведут свои расчеты, зная, что они необходимы таким людям, как Астрапидес... Астрапидес же, утверждали люди, и Англию отвергнет, когда найдет что-либо лучшее. Алкивиаду говорили об этом многие, но он не хотел верить этому. Вскоре пришлось ему убедиться, что эти обвинения были справедливы.

Астрапидес пригласил его с собою на выборы в Акарнанию, и речь его была так убедительна, что Алкивиад согласился с удовольствием.

– Ты увидишь эту прекрасную, суровую родину наших боевых капитанов... Акарнания, которой роль была так темна и ничтожна в истории древней Эллады, в истории последнего возрождения нашего играет самую блестящую роль. Ты увидишь Мисолонги... что я прибавлю к этому?! Тень лорда Байрона будет парить над нами. Я знаю, ты одарен поэтическим чувством и с радостью увидишь наших рыцарских капитанов, наши дубовые леса, которых жолуди кормят целые селения...³ Увидишь наши дома. В нашем доме, например (прибавил соблазнитель с улыбкой), ты увидишь бойницы, они заложены камнями и замазаны известью в обыкновенное время: но во время выборов их открывают, потому что иногда от спора дело доходит у нас и до...

Тут Астрапидес приостановился и, зорко взглянув еще раз на Алкивиада, прибавил как бы шутя:

– Увидишь, вероятно, и разбойников наших. Посмотри, какие молодцы. Ты, который говоришь, что ненавидишь положительный дух купечества и вечного порядка... ты увидишь их, я уверен, с удовольствием...

– Где ж я их увижу? Не отдаться же мне им в плен из любопытства? – спросил Алкивиад.

– Увидим и без плена. Ведь и они люди. Алкивиаду показали последние слова до того подозрительными, что он поколебался на минуту.

Он не верил, что беспорядки и разбои единственное и лучшее средство для эллинского прогресса, и честному сердцу его примириться с иезуитскими средствами было не легко. Он отвечал Астрапидесу, что подумает, но в тот же вечер чуть за него не поссорился с зятем, и с досады, не желая оставаться больше у зятя в доме, уехал с Астрапидесом в Акарнанию.

Ссора случилась за ужином.

Алкивиад стал говорить о красноречии Астрапидеса, о необыкновенных его дарованиях и о том, что он зовет его с собою на выборы.

– Красноречив он, это правда, и даровит; а английские фунты стерлингов еще красноречивее и даровитее. Они хоть кому озолотят речь, – сказал насмешливо толстый Гайдар-эффенди.

Завязался горячий спор, который сестра Алкивиада напрасно пыталась смягчить, воздерживая то мужа, то брата.

³ Жолуди кормят народ в том смысле, что ими торгуют для дубления кож и других целей.

Алкивиад разгорячился до того, что сказал зятю: «Твои уста не озолотятся никакими сокровищами ни Запада, ни Востока. Твои нападки на Астрапидеса – злобное шипение зависти к высокому государственному таланту»...

Зять, с своей стороны, обозвал Астрапидеса уже прямо подкупленным агентом Англии и пристанодержателем разбойников, а Алкивиаду сказал, что он напрасно ест хлеб и занимает деньги у человека, которого презирает и считает глупцом...

Алкивиад встал из-за стола и ушел, несмотря на мольбы сестры, к Астрапидесу на квартиру.

Оттуда написал он к сестре нежное, почтительное письмо, упрасывая ее простить ему «эту понятную вспыльчивость» и сказать мужу, что долг он ему по возвращении в Афины постарается заплатить.

Чрез две недели они с Астрапидесом сидели неподалеку от селения, в тени прелестной дубовой рощи. Около них на лужайке паслись овцы, мирно бряцая колокольчиками.

Астрапидес был задумчив и жаловался, что выборы не совсем хороши. Напрасно лилось вино в его доме, напрасно жарились бараны и куры, – речи его, приспособленные к понятиям селян, лились еще обильнее вина... Надежды были слабы; особенно в двух селах люди обнаруживали совсем не то направление, которого искал Астрапидес.

Алкивиад слушал его жалобы и разделял искренно его досаду...

В это время подошел к ним пастух Астрапидеса и отозвал его в сторону.

– Говори при этом человеку: он первый друг мой. Пастух колебался.

– Говори! – грозно сказал Астрапидес.

– Как хотите! – ответил пастух и улыбнулся, посмотрел пристально на барина своего и сказал:

– Ребятам вчера вечером дал я трех овец. А насчет хлеба и вина сказал: вам скажу. У меня где ж хлеб и вино!..

– Хорошо сделал, – отвечал Астрапидес. – Когда ж они придут?

– Завтра вечером опять придут.

– Хорошо. Мальчик вынесет тебе в овчарню хлебов и вина... Ничего нового? Сам не был?

– Сам не был; а новый молодец один большую до вас просьбу имеет...

– Который? – спросил Астрапидес, – не тот ли, что из Турции бежал?

– Этот самый! – отвечал пастух.

– Что ж, очень рад! – воскликнул Астрапидес, – пусть придет завтра вечером. А лучше бы еще было, если б и сам побывал вместе с новым молодцом. Завтра, как свечереет, буду ждать их... Из-за чего тот из Турции убежал, не знаешь?..

– Из Турции? – отвечал пастух, – поспорил с офицером и свалил его с лошади в грязь, и бежал после этого. Как же не бежать? Сами знаете! Молодец хороший... вполне человек, мужчина!

Астрапидес развеселился и, возвращаясь домой, дал пастуху щедрое награждение.

Алкивиад из этого разговора понял все, понял, что зять его был прав и что Астрапидес пристанодержатель и друг разбойников. Он не стесняясь тут же выразил ему свое негодование.

– С этими средствами я никогда не помирюсь! – сказал он.

– Если ты не помиришься, ты докажешь этим, что ты еще очень молод, что глубина государственных вопросов тебе еще недоступна, – сказал Астрапидес.

– Я никогда не войду в союз с преступлением, – возразил студент.

Астрапидес остановился и, взяв его руку, начал так:

– Существуют ли в Акарнании разбои помимо нашей воли? Существуют. Нарушают ли они без нашего участия спокойствие мирных жителей? Конечно, нарушают. Полезны ли такие беспорядки для высших целей политических сами по себе? Бесплезны. Призван ли я специально преследовать разбой? Офицер ли я королевской службы, под начальством которого

состоят солдаты для искоренения разбоя? Пристанодержательствуют и без того селения наши от простого страха и не извлекая из преступных действий своих никакой пользы для эллинизма. Не употребляют ли часто и люди противной нам партии те же средства для достижения гибельных, по нашему убеждению, целей?.. Итак, неужели так преступно со стороны патриота, если он берет то, что зовут французы *le milieu*, – среду, таковою, как она есть, и, освящая средства целью, подчиняет себе обстоятельства? Зло силою своего духа принуждает служить благу и бесплодно-смертоносный яд претворять, подобно врачу, в благотворное лекарство!.. *Dixi!* Вы, милый друг мой, предпочитаете вашу личную чистоту государственной пользе – это ваше дело... у всякого свои понятия о чести и пользе... Дайте свободу и другим, особенно тому, кто не колеблясь доверяет вам самые опасные тайны, ввиду вашей зрелости и мужественного характера!.. Что, разве не хорошо я сказал?..

Алкивиад заметил печально на все это:

– Надеюсь обойтись в жизни и без этого полезного яда, и если продолжать уподобление, то и врачи избегают сильных лекарств до последней крайности... И наконец, иное дело – соглашаться, что известное зло может иногда приносить добрые плоды, иное дело – самому вступать в союз с этим злом. И древние эллины олицетворяли в религии своей всякие силы и всякие страсти, но и они, я думаю, понимали, что лучше быть в союзе с Фебом, чем в союзе с фуриями...

– Я вижу, что ты очень умен, – ответил Астрапидес с отеческою улыбкой, – и надеюсь, что зрелость этого блестящего ума не заставит себя долго ждать. *La jeunesse est un défaut dont on se corrige bien vite.* Недурно сказано? Остроумный человек был этот француз, не так ли?

IV

На другой день, под вечер, Алкивиад сам видел, как пастух Астрапидеса провел в дом двух людей, закутанных в бурки. Он понял, что это были разбойники и что друг его хочет вступить с ними в какие-то преступные соглашения. С негодованием удалился он в свою комнату, зажег свечу и лег на диван с газетой... Но и газета мало занимала его... Воображение его стремилось на ту половину дома, где происходило таинственное свидание... Утром у них с Астрапидесом был новый спор об этом, и во время спора того Алкивиад узнал от Астрапидеса, что разбойник, которого ждет хозяин дома, не кто иной, как знаменитый Дэли⁴.

Об этом Дэли Алкивиад слышал не раз еще и в Афинах, и Астрапидес показал ему утром его фотографическую карточку.

Дэли красивый, бородатый мужчина средних лет, лицо его скорее приятно, чем свирепо. Рассказывают, что он стал разбойником из мщения.

Еще он был очень молод, когда солдатам короля Оттона случилось зайти в то село, где он жил.

В числе этих солдат были негодяи, которые изнасиловали молодую сестру Дэли.

Дэли поклялся вечно мстить военным, убежал из села, собрал шайку удальцов и стал разбойником. Сначала он был жесток только к тем, которые носили мундир; с людей гражданских он брал только выкуп и вообще обращался с ними хорошо, а иногда и по-рыцарски.

Военных он убивал без пощады. Так было сначала (рассказывал Алкивиаду Астрапидес); но позднее обстоятельства ожесточили Дэли еще больше. Дэли был женат, но бросил жену и похитил из одного селения молодую девушку, которая влюбилась в него. Он одел ее по-мужски, в фустанеллу, и она всюду следовала за ним, разделяя всюду с ним и нужду, и добычу, и опасности.

Астрапидес уверял, что сам видел ее. При одном из его прежних свиданий с разбойничьим капитаном присутствовала и эта молодая девушка. Встреча была днем в лесу, и Астрапидес сознавался, что он не мог скрыть, до чего она ему понравилась. Опираясь на ружье, она стояла поодаль с двумя другими паликарами; одета была в этот день по-праздничному, щегольски... Феска до того мило держалась на ее подстриженных волосах, бурка до того изящно спадала с ее нежных плеч, что Астрапидес, разговаривая с Дэли о самых опасных и важных делах, не мог воздержаться, чтобы не взглядывать беспрестанно в ее сторону. Он не мог налюбоваться ею.

Дэли замечал его движения и изредка улыбался.

Наконец Астрапидес сказал разбойнику, пытаясь привести его в замешательство:

– Какой это у тебя молодой паликар красавец! Что за картинка...

Дэли покраснел и сказал как бы с равнодушием.

– Понравился он тебе? У меня все паликары хорошие, все злодеи люди! Все собаки такие, каких свет еще не видал...

А потом потрепал на прощанье Астрапидеса по плечу и сказал ему:

– Так понравился паликар тебе? Ох вы мне словесники, словесники городские! Что мне делать с вами! Нет у вас ни Бога, ни дьявола, и все у вас что-нибудь скверное на уме...

Не так давно эту девушку убили королевские солдаты, и с тех-то пор Дэли стал гораздо еще суровее и злее прежнего. Вот как это было. Отряд войска напал наконец на след разбойников. Дэли, который привык смеяться над усилиями своих гонителей, присел отдохнуть с любовницею своей в одной пещере. Они разложили огонь и начали варить кофе.

Солдаты заметили, что из пещеры выходит дымок, и направились к ней...

⁴ Дэли – лицо действительное. Недавно убит в Элладе войсками.

Раздались неосторожные, преждевременные выстрелы. Дэли и подруга его схватились за оружие, выбежали из пещеры и бросились вверх, с камня на камень в кусты...

Солдаты были далеко, но одна из пуль их ударила молодую девушку в грудь и убила ее на месте. Дэли убежал.

Рассказывая все это Алкивиаду, Астрапидес знал, кому он это говорит. У Алкивиада было пылкое воображение, и потому все поэтическое могло ему нравиться, даже и тогда, когда оно было преступно.

И вот теперь, лежа на диване, он не читал газеты, а думал о Дэли и о его погибшей любовнице... Знать, что Дэли всего чрез две стены от него и не видать его – казалось ему очень скучным. Гражданская совесть предъявляла свои требования, поэзия – свои...

Он уже стал проводить мысленную и глубокую черту между участием во зле и созерцанием этого зла из простого любопытства... Он уже восклицал про себя:

«Неужели врач, изучающий труп отравленного, или даже судья, с любопытством взирающий на отравителя, имеют что-либо общее с помощником отравителя, с тем человеком, который тайно продал ему этот яд?..»

И к тому же, какая разница между каким-нибудь низким преступником, одним из тех преступников, которых темные и холодные злодейства изображает нам западная словесность, и греческим отважным паликаром, который не утратил ни рыцарского, ни религиозного чувства, ни даже патриотизма. Я думаю... о, я уверен, что и Дэли, и всякий разбойник, горец наш, может стать при случае патриотом и сразиться с врагом за отчизну... Прежние клефты доказали это, и сфакиоты критские в мирное время похищали не только овец и мулов у своих же соотчичей-критян, но насильно увозили в горы богатых невест, в надежде, что родители должны будут уступить после... И разве эти сфакиоты не оказались истыми эллинами во время последней, несчастной борьбы?.. Где же англичанину или французу понять, что такое грек!..»

Так рассуждал сам с собою молодой человек, сгорая желанием увидеть Дэли.

Да, желанием он сгорал, но, отринув так резко всякое примирение с идеями Астрапидеса, какая же была возможность постучаться в ту дверь, за которой Астрапидес совещался со своими опасными союзниками?

Однако, видно, судьбе было угодно, чтобы Алкивиад познакомился с разбойниками. Астрапидес сам пришел к нему и сказал:

– Вставай, люди тебя желают видеть!

– Меня? – с удивлением спросил Алкивиад. – На что я им?

– Увидишь. Именно до тебя, а не до кого-нибудь другого есть дело. Ты можешь сделать большое добро и спасти невинного человека.

И, говоря это, Астрапидес увлекал его дружески и почти насильно за собой...

Дэли сидел, облокотившись на стол, задумчиво и величаво избоченясь, когда молодые люди вошли...

Одет он был чисто и даже богато. Другой его спутник казался гораздо моложе; ему на вид не было и тридцати лет, но у него не было ни благодушия, ни благородства в лице, как у Дэли. И одет он был небрежнее, и беднее, и ростом ниже, и собой не очень красив, бледен, худ, как настоящий албанец; сила выражения была у него только в серых и лукавых глазах и в небольших усах, приподнятых и закрученных молодецки.

– Вот он самый, друг мой! – сказал разбойникам Астрапидес, указывая на Алкивиада.

Поздоровались и сели, о здоровье спросили. Дэли был величав во всех своих приемах; редкому номарху Греции удастся так поздороваться и так сесть. Товарищ его, напротив того, не пожал руку Алкивиада крепко и по-братски, а подошел почти униженно, чуть коснулся пальцами его руки и возвратился к своему месту, почтительно склоняясь и прикладывая руку к сердцу. Он даже не хотел сесть, пока не сели все другие.

– Он из Турции, и зовут его Салаяни, – сказал Алкивиаду Астрапидес. – Он имеет до тебя просьбу.

Салаяни опять почтительно поклонился Алкивиаду.

– Говори же! – сурово сказал своему спутнику Дэли. – Оставь политику свою и без комплиментов расскажи о деле.

– Эффендим! – воскликнул Салаяни, вздыхая, – происходит великая несправедливость. Христианство страдает в Турции...

– Бедный человек! – воскликнул Дэли, смеясь и качая головой, – он все с пашой еще словно говорит... Скажи ты прямо, не тирань ты человека глупыми речами...

– Но что ж ему бедному и делать, – вступился Астрапидес, – привычка, рабство...

– Рабство, рабство! Глупость, а не рабство, – сказал с презрением Дэли и потряс рукой на груди своей одежду. – Э, человек! Говори...

Наконец дело объяснилось. Салаяни несколько лет тому назад служил мальчиком в городе Рапезе у богатого архонта кир-Христо Ламприди. Этот Христо Ламприди был Алкивиаду дальний родственник, троюродный брат его отцу. Вес г. Ламприди и в городе, и вообще в Турции был велик. Недавно его султан своим капуджи-баши⁵ сделал.

– Служил у него я мальчиком, – говорил Салаяни все вкрадчиво и почтительно, – и был он мне как отец, и я ему был как сын, пока не случилось со мной несчастья: шел я однажды по улице на базар. Встретился мне один турок, низам, несет в руке говядину сырую и говорит: «Эй, морэ⁶-кефир!⁷ снеси эту говядину в казарму, а у меня другое дело есть». – Я говорю: зачем мне нести твою говядину? У меня у самого дело есть. «Снеси, несчастный кефир! – говорит он мне, – ты ведь мальчик еще, и казарма близко». – Нехорошо ты делаешь, ага, – говорю я ему, – что кефиром меня зовешь: это законом запрещено! «Так ты мне говоришь?» – спрашивает он. – Так я тебе говорю, ага! – я сказал. Тогда он взял эту говядину сырую и начал бить меня сырую эту говядиной по лицу и ругать веру нашу. Я стал отбиваться. Прибежали другие низамы... избили меня, а потом подошел офицер их, отнял меня и отослал в конак, а оттуда меня в тюрьму послали, и просидел я в тюрьме около месяца...

Астрапидес и Алкивиад слушали серьезно, но Дэли смеялся и говорил:

– Хорошо тебя вымыл турок. Я рад, потому что ты не человек, морэ. Ты бы должен был убить его на месте, а не кричать, пока сбегутся другие низамы... Албанская голова, сказано! Э, рассказывай дальше, несчастный... Соскучился уж и я, тебя слушавши, а молодой господин этот, глядя на то, как ты ломаешься пред ним, как бы тебя в дьявольский список⁸ не записал, вместо помощи... Бедный, бедный.

Дальше рассказывал Салаяни так: г. Христо Ламприди, дядя Алкивиада, выхлопотал было ему сокращение тюремного срока, взял его к себе опять на поруки, что будет хорошо себя вести, и жил так бедный, невинный мальчик долго. Потом случилось другое несчастье. Тот офицер турецкий, который отнял Салаяни у солдат, но вместо того, чтобы наказать своих, обвинил его, ехал раз верхом около дома г. Ламприди. Время было грязное, и офицер, вместо того, чтоб ехать посреди улицы, въехал на тротуар около самого дома. Салаяни в это время выносил на улицу кой-какие вещи хозяйские, и в руках у него была хорошая стеклянная посуда. Наехал офицер так неожиданно и прижал его к стене так близко, что посуда выпала из рук Салаяни и разбилась. Начал он спор с офицером и стал кричать, что хозяину убыток большой... Офицер замахнулся на него хлыстом, а Салаяни толкнул его лошадь так, что она упала

⁵ Капуджи-баши – звание почетное, вроде камергера Это звание дается богатым грекам, евреям, болгарам и т. д. за какие-нибудь заслуги государству, люди эти, однако, не состоят при дворе, а продолжают заниматься своими делами в провинциях.

⁶ Морэ – звательный падеж от *морос* – глупый. Это не всегда брань на Востоке, а просто фамильярное и даже иногда ласковое воззвание, как бы у нас: *дурочка* или *глупенькая!*

⁷ Кефир – гяур.

⁸ Записать в дьявольский список, в список дьявола – иметь человека на худом счету.

вместе с офицером с тротуара в глубокую грязь... и офицер расшибся и весь в грязи измарался; а Салаяни тотчас же бежал, сперва в горы, а потом и в Элладу...

– Вот они, наши дела-то какие! – сказал все с улыбкой Дали Алкивиаду. – Турецкие дела!.. Теперь этот молодец желает, чтобы добрый дядя ваш, г. Христо, выпросил ему прощение у пашей тамошних и чтоб ему было позволено возвратиться на родину. Вы напишите вашему дяде, просит он.

Астрапидес заметил, что нынче гораздо больше законности, чем было прежде, и потому не трудно ли будет это...

– А больше ничего нет? – спросил Алкивиад.

– Есть и еще, – ответил Салаяни, снова принимая скромный и почтительный вид. – Только это великая обида. Когда я был в горах – убили ночью другие люди двух человек. Христиане они были... Сами же соседи убили, а на меня говорят... Только пусть я почернею и с места не сойду, и пусть Бог меня накажет, если это не обида мне!..

Все слушатели улыбнулись, и Астрапидес, и Дэли, и даже Алкивиад, несмотря на внутреннее волнение, которое он чувствовал, слушая все, что говорил Салаяни. А Дэли прибавил: «Все несчастья с молодцом приключаются... Судьбы ему нет, а сам он, как святой человек, я так, глядя на него, думаю»... Астрапидес заметил, тоже смеясь и обращаясь к Дэли: «Говорят люди: турецкие дела! Можно и так сказать: эллинские дела!»

– Ба! – сказал Дэли, встав, – это-то слово я давно говорю... Именно так: эллинские дела. А молодцу вы, господин Алкивиад, все-таки помогите. Какая бы ни была, а все душа христианская.

Алкивиад обещал написать дяде письмо и послать не по почте, а с верным случаем. Сверх того он сказал, что давно и сам бы хотел побывать в Эпире у родных. Может быть, и поедет скоро; тогда на словах еще легче все кончить. Салаяни вызывался и сам отнести письмо в Эпир и переслать в Рапезу; но Алкивиад не решился дать в руки незнакомому и подозрительному человеку письмо, которое могло бы и повредить г-ну Ламприди.

Разбойники простились и ушли. Салаяни еще раз униженно благодарил афинских господ, и оставшись одни – Алкивиад и Астрапидес – опять проспорили до полуночи.

Алкивиаду несколько раз приходили на ум «английские фунты»; но он был слишком благороден и еще слишком сильно любил Астрапидеса, чтоб оскорбить его так ужасно на основании одних слухов. Он довольствовался тем, что горячо оспаривал право гражданина пользоваться всякими средствами даже и для возвышенных целей.

Астрапидес был непреклонен и повторял: «Ты увидишь, что иначе нельзя! Ты увидишь, как все будет хорошо теперь».

Правда, не прошло и недели, как те села, которые больше всех упорствовали в противном направлении, сдались на тайные угрозы и подали голоса в пользу тех, кого хотел Астрапидес.

Были при этом и угощения; вино Астрапидеса опять лилось чрез край; на дворе его гремела музыка, плясались народные пляски. Молодые афинские щеголи братались с селянами, и даже раз оба, одевшись в фустанеллы, плясали сами так хорошо (особенно лихой Астрапидес), что деревенские люди кричали им: «браво, паликары, паликары городские, браво!» Иные обнимали их.

Одно только событие отуманило это веселье. Один двадцатилетний племянник убил из пистолета своего дядю. Они заспорили о политике; племянник был сельский паликар, а дядя афинский словесник⁹. Племянник обличил дядю в бесчестности; дядя вынул револьвер, но племянник предупредил его движение и сам убил его наповал.

⁹ Словесники (логигтате) и чернильщики (каламарадес) – названия, которые дают часто в насмешку простые греки своим учителям, адвокатам, газетчикам и т. п.

Астрапидес в ту же ночь выслал юношу на турецкую границу, и турки приняли его хорошо; узнав, в чем он виноват, они его удержали, несмотря на требования греческого номарха, говоря друг другу:

– Разве они нам выдают наших преступников? Никогда... Вот и Салаяни не хотят выдать. Мальчик этот хороший – зачем его выдавать?

Вскоре после этого Алкивиад простился с своим другом и уехал в Корфу к отцу. Чувство его к Астрапидесу стало остывать, и согласиться с ним он не мог.

Чувствуя свою вину пред зятем, он из Корфу написал сестре очень ласковое письмо, в котором просил извинения у зятя и сознавался ему, что он «в Астрапидесе ошибся».

«Больше, однако, я ничего не скажу. Это долг моей прежней дружбы и убеждение, что он лишь заблуждается, но не так виновен, как вы думаете... В такую безнравственность я никогда не поверю и потому буду молчать».

Из Корфу Алкивиад хотел было тотчас же ехать путешествовать по Эпире; но жаль было скоро покинуть отца; он отложил поездку и написал пока письмо о Салаяни к Христаки Ламприди, в город Рапезу, в котором тот жил всегда. Христаки Ламприди был не только самый первый богач своего края, не только капуджи-баши, но дом его уважали еще в Эпире, как «старый и большой очаг».

Отец Христаки торговал пшеницей и кожами и был богат и известен самому Али-паше Янинскому. Случилось так, что Али-паша услышал от кого-то похвалы европейским серебряным сервизам для стола; он захотел непременно иметь такой сервиз. Кому поручить? Он вспомнил, что отец Христаки имеет дела с триестскими торговыми домами, вызвал его в Янину и сказал ему: «Поезжай ты сейчас в Триест; закажи самый хороший таким франкского серебра и привези мне; а я тебе заплачу, если будет вкусен и красив!» Кто не трепетал тогда Али-паши! Убить человека всегда было в его воле; его боялись в самом Царьграде. Рассказывают, что он узнал раз, будто один консул западный пишет о злодействах его подробно в свое посольство; он призвал его к себе и сказал ему:

– Консулос-бей! Не пиши ты так худо обо мне посланнику; узнаю я, что ты еще пишешь, заплачу двум арнаутам, и они убьют тебя; а я потом схвачу их и повешу, и напишу: вот как я наказал злодеев, которые консула умертвили. И твой эльчи¹⁰ будет рад...

Каково же было ехать купцу в Триест на свой страх покупать серебро? Он простился, проливая слезы, с семьей и уехал, среди зимы, в самое бурное время, на простом парусном судне. Серебро, однако, понравилось паше. Он заплатил за него гораздо дороже, чем оно стоило самому Ламприди, и дал в награду ему и его роду похвальный фирман. В фирмане было приказано всем и всегда уважать этот почтенный, честный и старый дом, в котором и гостеприимство издавна таково, что и очаг никогда не гаснет, и казан в кухне всегда кипит.

Все это Алкивиад знал и прежде, и дядю самого и сыновей его знал давно, потому что они бывали в Корфу и останавливались всегда у его отца.

В письме он не говорил, конечно, где и как он встретил Салаяни, но просил его только употребить свой вес и свое влияние, чтобы Салаяни позволили поклониться.¹¹ Он жалуется, что утомлен жизнью клефта и хочет, подобно стольким другим прощенным разбойникам в Турции, перейти снова в мирное гражданское житье.

Через две недели кир-Христаки ответил Алкивиаду так:

«Это правда, – писал он, – что многие поклоненные разбойники в Турции стали прекрасными и честными гражданами и живут между нами хорошо, так что и мы уважаем их. И у меня есть один приятель такой; он уже старик, торгует честно и живет богато. Но поклониться теперь труднее, чем было прежде: теперь в Турции гораздо более законности, и едва ли новый

¹⁰ Эльчи, эльчи-бей – посланник.

¹¹ Поклониться – положить оружие, попросить прощения, сдаться.

паша допустит Салаяни поклониться; он желает переловить всех разбойников и наказать их, а не прощать.

Сверх того, любезный друг мой, скажу я тебе и про Салаяни самого, что он, может быть, теперь и утомился; но я его знаю с детства: он злой и лукавый человек, у которого ничего нет святого, и я ему не верю. Не будет сам он разбойничать, так пристанодержателем станет, что иногда еще хуже. И каково же мне стать поручителем за такого изверга? И пусть он не говорит, что «турки виноваты»; виновата его злоба, а не турки. Не ему одному, деревенскому мальчику, случилось дерева поест¹² от турок, но разбойниками люди эти не стали... И офицер, которого он в грязь столкнул, отличный был человек, доброй души и вовсе не тиран. Поэтому передай Салаяни, чрез кого ты знаешь, что я для него не сделаю ничего!»

В конце письма г. Ламприди еще раз звал Алкивиада в гости к себе в Рапезу, поесть наш хлеб и посмотреть, как мы, люди старинные и ржавые, живем в Османли-Девлете.

Хотя Алкивиаду уже не хотелось писать к Астрапидесу, но делать было нечего; он желал сдержать слово и дал знать чрез него разбойнику (не называя его по имени на бумаге, а просто тому молодцу), что сделать для него никто ничего не может.

Недели через две после этого, простясь с отцом, Алкивиад сел на пароход и поехал в Эпир.

¹² Дерева поесть – отведать палок, побоев попробовать.

V

Алкивиад вышел на турецкий берег впервые в Превезе... В этом городе у него был знакомый доктор, родом кефалонит. Он его знал еще холостым в Корфу, встречался с ним и в Афинах.

Доктор был человек образованный, умный, очень живой и страстный ритор. Алкивиад уважал его и очень был рад встретить его в Превезе. Доктор был предупрежден о приезде Алкивиада, но сам не мог поспеть ему навстречу и выслал вместо себя на пристань двух слуг, чтоб они проводили Алкивиада до его дома и принесли бы его вещи.

Алкивиад прошел с ними около крепости, на которой развевался кровавого цвета флаг с белым полумесяцем.

Первые впечатления молодого эллина не были слишком грустные; любопытство долго заглушало в нем вопли патриотического чувства...

Городок имел вид мирный и приятный. Белые домики его весело стояли в зелени; апельсиновые сады и широкие оливковые рощи проливали кроткую тень на окрестность. Народ казался бодр и опрятен: одет он был в фустанеллы, точно так же, как и в свободной Акарнании... Алкивиаду даже понравились почтенные турки-ходжи в белых чалмах.

Один из слуг, сопровождавших его, был очень разговорчив. Он сказал Алкивиаду, что он не слуга доктора, а слуга г. Парасхо из Рапезы, другого дальнего родственника Алкивиада; что г. Парасхо и кир-Христаки Ламприди нарочно выслали его в Превезу навстречу гостя. Сказал еще, что его зовут Тодори-сулиот из деревни Грацана и что у него есть для дороги хорошее оружие. Алкивиад уговорил его идти с собой рядом, и Тодори объяснял и показывал ему дорогой все, что он желал знать.

На базаре, где было больше народа, путника неприятно поразил один случай... Их обогнал сперва высокий вооруженный и суровый паликар, а за паликаром шел очень гордо невзрачный, сморщенный и дурно одетый европеец в форменной фуражке... Тодори сказал ему, что это один из западных консулов. «Недавно он торговал пиявками и то секретно, потому что в Турции все пиявки царские; а теперь вот большой человек стал и консул!» Так сказал Тодори...

Алкивиад видел, что на базаре все привставали и кланялись, когда консул проходил мимо; видел, как небрежно и гордо отвечал жалкий европеец на поклоны эти... Видел и худшее. Сперва один солдат турецкий и потом один грек, продавец сластей, не успели посторониться с узкого тротуара. Кавасс консульский столкнул их обоих вниз так сильно и грубо, что солдат едва устоял на ногах, а у грека упал лоток, и все конфеты рассыпались по грязи. Могло ли это понравиться сыну свободной Греции? Почтение, которое обнаруживал народ пред вчерашним продавцом пиявок, показалось ему отвратительным низкопоклонством... вековой привычкой рабства.

Грубое обращение кавасса еще больше возмутило и удивило его.

Южный округ Эпира славится удальством, и многие из этих же самых людей, которые так покорно выносят толчки, завтра способны снова, как в 21 году или во времена Гриваса, залечь за камни с ружьем или гнать мусульман с обнаженными ятаганами по горам до самых ворот города!

Доктор встретил его на пороге своего дома, и они обнялись. Докторша сама подала ему варенье с водой и кофе, спросила его о здоровье отца и всех других родных его, которых она никогда не видала, и, исполнив этот долг, удалилась в угол и села там, не мешаясь более в разговор...

Зато сам хозяин был многоречив, и слог его речей был по-старому возвышен.

– Итак, – сказал он Алкивиаду, – вы решились взглянуть на этот рабский край? Вы хотите попать стопами свободного эллина землю вековой неволи? Хорошо. Прекрасная мысль! Вы посетите, я не усомнюсь, славную Пету, где покоятся кости филэллинов. Вы бросите, конечно, ваш взор и на развалины Никополя, на полуразрушенную баню, которую иные зовут баней Клеопатры. Обзор этих развалин поучителен не только в одном археологическом отношении. Он пробуждает в нас глубокие размышления о непрочности всего земного, о падении великих царств, и унылое сердце грека, страдающего под ненавистным игом зверей, принявших человеческий образ, раскрывается для новых надежд.

– Это правда. Я посмотрю все это, – отвечал Алкивиад. – Скажите мне, однако, как вы живете здесь...

– Как живем? – отвечал доктор с улыбкой. – Как живут варвары? Может ли человек как следует просвещенный ожидать чего-либо от страны, в которой бедность, рабство и невежество составили между собою союз, победимый только огнем и мечом!

– Турки, как слышно, делают успехи; просвещаются и стараются привлечь к себе население. Правда ли это? – спросил Алкивиад.

Доктор презрительно усмехнулся.

– Коран и прогресс так же примиримы, как огонь и вода! – воскликнул он.

– Не обманываем ли мы сами себя? – спросил Алкивиад. – Знать истину про себя, мне кажется, выгоднее, чем обольщаться... Аравитяне доказали, что Коран и просвещение совместимы. Не следует ли бояться, чтобы турки не пошли по их следам?

– Ба! – воскликнул доктор, – можно ли аравитян сравнивать с турками? Турки слишком просты. Я приведу вам один недавний пример турецкой глупости. Года два тому назад Превезу посетил австрийский император. Я расскажу вам в мельчайших подробностях об этом событии.

Здесь доктор должен был остановиться, потому что в столовой накрыт уже был обед, и молодой гость его признавался сам, что он очень голоден.

VI

Обед доктора был хорош. Густой рисовый суп с лимоном и яичным желтком «авголе-моно», любимый на Востоке; слоеный пирог с начинкой из шпината; индейка, начиненная изюмом и миндалем, и пилав с кислым молоком.

Докторша не принимала, по-прежнему, участия в разговоре; она, беспрестанно вставая из-за стола, занималась хозяйством и угощала Алкивиада так навязчиво, что муж, наконец, сурово заметил ей:

– Перестань беспокоить человека. Есть пределы самому гостеприимству! Это становится пыткой, сударыня! А вас, кир-Алкивиад, я прошу извинить нашу эфиротскую простоту; моя госпожа – женщина древняя... не по летам, а по обычаю.

– Мы так приучены! – скромно присовокупила докторша и тоже извинилась.

Алкивиаду, который привык к свободе женской в Афинах и Корфу, не понравились ни суровость мужа, ни лицемерная стыдливость жены, и он поскорее попросил своего хозяина рассказать о приезде австрийского императора.

– С удовольствием! – воскликнул доктор. – Я расскажу вам это подробно. Однажды, ранним утром, летом 67 года, вошел в нашу гавань военный пароход под австрийским флагом. Австрийский консул, бывший здесь тогда, человек пожилой и простой, вышел из дома своего в халате и туфлях, и так как жилище его было на берегу моря, то он скоро увидел, что от парохода отделилась шлюпка с простым флагом, полная офицеров. Консул, полагая, что это простые соотечественники, начал кричать им: «Добро пожаловать!» и манить их рукой. Шлюпка остановилась пред самым домом его. Первый выскочил из нее офицер средних лет, и консул хотел рекомендоваться ему и пожать руку, как вдруг следующий офицер сказал ему: «Это его величество!» Бедный консул до того растерялся, что пошатнулся и упал бы навзничь, если бы сам император не поддержал его. Мало-помалу он пришел в себя; переоделся, принял государя у себя в доме и угощал его по-здешнему, вареньем и кофе. Отдохнув, император приказал нанять простых лошадей из ханов, для поездки инкогнито на развалины Никополя, прежде, чем турецкие власти узнают о его прибытии. Он захотел, однако, на минуту зайти и в крепость, которая, как вы видели, защищает бухту. И вот тут-то вы увидите, каково просвещение Турции. Полковник, который начальствовал артиллерией в этой крепости, узнал, что император уже взошел в ворота; он выбежал, как был, расстегнутый, без галстука, в старом мундире и, кланяясь императору, воскликнул: «Так-то ты приезжаешь к нам, не подав вести вперед! Обманул ты нас. Хорошо! Постойте, и мы к вам в Вену когда-нибудь так придем! Увидишь!»

– Это не столько глупость, сколько честное простодушие военного, – отвечал с улыбкою Алкивиад. – Что ж было дальше? Какое впечатление произвело это на наш народ?

– Никакого, – отвечал доктор. – На базаре, конечно, любопытство пробудилось во многих, но одно лишь любопытство. Многие жаловались, что им помешали в этот день торговать спокойно. Совсем иное дело было, когда недавно еще прошел ложный слух о том, что на русском пароходе едет к нам из Корфу Великий Князь Константин. Тогда бы вы могли полюбоваться на стечение народа, на восторг этой толпы.

– Это грустно, – сказал Алкивиад. – Славяне и панславизм – самые опасные враги наши.

– Я говорю не о славянах, а о России; о великой державной России, которой каждый шаг на Востоке был ознаменован облегчением нашей участи! – отвечал доктор с жаром. – Если вы под славянами разумеете именно русских, то я вам должен сказать с величайшим, глубоким сожалением, что я с мнением вашим согласиться не могу! Мы все привыкли чтить этот флаг.

– В политических мнениях, – возразил Алкивиад, – безусловно должно быть одно – любовь к отчизне; остальное должно изменяться по обстоятельствам.

– Подите измените взгляд наших простых людей, – воскликнул доктор.

Разговор этот скоро прекратился, однако, потому что доктор предложил Алкивиаду свести его в Порту и представить мутесарифу. Он говорил, что это будет одинаково полезно для них обоих. Посещение это, в котором Алкивиад должен стараться быть почтительным и понравиться паше, произведет хорошее впечатление. Оно будет значить, что человек и не скрывается, и уважает местную власть.

Алкивиад согласился охотно на это предложение, и доктор послал слугу своего к паше спросить: «в котором часу угодно будет его превосходительству принять их».

Слуга возвратился скоро и сказал:

– Когда вам угодно: хоть сейчас же!

Доктор и Алкивиад собрались идти. Желая угодить мутесарифу, Алкивиад спросил: не лучше ли надеть фрак? Но доктор осмел его, утверждая, что паша человек старинный, фраком его не пленишь, и что длинное пальто, которое было на Алкивиаде, понравится ему гораздо более, как одежда, дающая вес и солидность.

Они пошли.

Мутесариф был родом из дальнего Берата, из большого албанского очага. Доктор предупредил Алкивиада, что он встает с дивана только для других пашей, для консулов и для духовных сановников: для архиерея, для кади или для еврейского хахана. И потому молодой грек без звания и положения в стране оскорбляться этою гордостью не должен.

Изет-паша точно не встал с дивана, но принял их довольно приветливо и, ударив в ладоши, на дурном греческом языке приказал принести им папирос и кофе.

– Надолго ли в наши страны? – спросил он Алкивиада.

Алкивиад сказал, что и сам не знает, что он желает только повидаться с родными... Мутесариф похвалил его за это; похвалил его рапезских родных, особенно дядю, старика Ламприди.

– Почтенный человек! – сказал он. – Старинного, большого дома! Падишах его недавно капуджи-баши сделал! И вся семья его почтенная, честная и хорошая. Старинная семья!

Но этот разговор приостановился, потому что паше подали телеграмму на турецком языке.

– Эй, морэ, – закричал он сердито, – где мои очки?

Слуга надел ему очки.

Изет-паша долго смотрел на телеграмму, качая головой, и наконец воскликнул:

– Скажите! не четвероногое этот телеграфчи? Так мерзко пишет! Позовите кетиба!¹³

Молодой кетиб вошел в модной короткой жакетке и феске и почтительно встал перед пашой.

Паша сурово приказал ему прочесть телеграмму про себя. «Разобрал?» – спросил он.

Писарь сказал, что разобрал. «Дай мне». Опять надел очки, опять смотрел угрюмо и еще раз осыпал проклятиями телеграфчи.

– Что ж он пишет?

– Пишет, – сказал молодой писец, – что из Эллады опять перешел границу разбойник Салаяни, как видно, от преследования греческих войск.

– Хорошо! они преследуют, а мы убьем его! – сказал паша и потом, снова обращаясь к писцу, спросил у него: – Какая это на тебе одежда?

– Одежда моды, – смиренно кланяясь, отвечал писец.

– Одежда моды? – грозно воскликнул Изет-паша. – И ты смеешь являться предо мной в этой обезьяньей одежде? Разве не имеешь ты низамского сюртука, который назначен для службы? Европа, франки свели вас с ума!

– Я к вали-паше так ходил, паша-эффенди, извините меня! – дрожа оправдывался писец.

¹³ Кетиб (по-турецки) писец.

– Вали-паша не выгнал тебя по великой доброте своей, а не по закону. Ты меймур¹⁴ и должен знать и меймурлик свой. Иди вон!..

Когда писец, смущенный и растерянный, оставил комнату, Изет-паша обратился к гостям своим и сказал им:

– Это они считают политичностью и образованием. Эта мода – гибель для всех нас.

– Вы говорите истинную правду, паша-эффенди, – воскликнул доктор. – Мода всех нас, восточных людей, сводит с ума, и мы от Европы принимаем лишь одно дурное, разврат и роскошь!..

С этими словами доктор хотел встать и проститься, но Изет-паша удержал их, говоря, что дел спешных теперь нет и он рад побеседовать. Он велел подать еще кофе и сигары, себе спросил чубук и повеселел.

Он много расспрашивал Алкивиада про Афины и Грецию; жаловался на разбои в обеих пограничных странах и сказал, наконец, нечто такое, что вызвало со стороны Алкивиада немного живой ответ.

– У вас держится разбой, – сказал паша. – Когда бы мы жили всегда в согласии и дружбе, как добрые соседи, так этому худу давно бы положили конец...

– Ваше превосходительство, извините меня, – сухо возразил Алкивиад, – если я не соглашусь с этим. Правительство наше конституционное и по этому одному иногда не может так легко и скоро наносить удары беспорядку, как могло бы правительство самодержавное, как ваше; если бы... обстоятельства, которых я не знаю и не сужу, не противились бы этому.

– Что он говорит? – спросил Изет-паша у доктора, – он говорит уж слишком по-эллиински, и я таких высоких слов не понимаю.

– Он надеется, – сказал доктор по-албански, – что такое могущественное, самодержавное правительство, как правительство султана, скорее эллиинского достигнет этой цели, и не хвалит конституцию.

Паша подозрительно поглядел на доктора и сказал:

– Это правда. Это он хорошо говорит. Я старинного эллиинского языка не знаю. Но люди, которые знают его, хвалят и говорят, что в нем много премудрости и сладости.

Доктор перевел полуалбанскую, полугреческую, полутурецкую речь паши своему спутнику, и они простились с пашой.

Паша сказал Алкивиаду, чтоб он не уезжал в Рапезу, не простившись с ним, что он хочет еще поговорить с ним и дать о нем похвальное письмо рапезскому каймакаму, «чтобы тот на него хорошо смотрел».

¹⁴ Меймур, меймурлик (по-турецки) чиновник, чиновничество.

VII

Алкивиад на другой день рано уехал верхом взглянуть на развалины Никополя.

Доктор спешил с утра к больным и сокрушался, что не мог сопутствовать ему. Сначала Алкивиад пожалел об этом, но потом утешился. Мечтать и думать было приятнее одному на зеленой равнине, где между морем и заливом стояли развалины.

В стране, которую посетил теперь Алкивиад, каждый шаг многозначителен для грека. Куда ни обращался его взгляд, все пробуждало здесь великие воспоминания. Мыс Аксиум, где бились Антоний и Октавий Август, был недалеко. С горестью вспомнил Алкивиад о том, что эти грозные римляне были учениками древних греков и что орлы римские разносили когда-то греческий ум и греческий вкус во все края света. Почти содрогаясь от гордости и горя, вспомнил он один лишь случай из жизни греко-римского Мира. Он вспомнил, как гонец принес парфянскому царю голову Красса, разбитого Суреной, и застал своего царя вместе с царем армянским за ужином. Оба царя любовались на актеров, которые представляли в эту минуту трагедию Эврипида. Гонец вошел. Раздались вопли торжества. Актеры умолкли. И голова старого римского полководца пала к ногам восточных царей.

В диких горах Армении цари наслаждались тогда Эврипидом! А теперь?..

Не в Акарнании, как пророчил ему Астрапидес, а здесь предстала ему тень Чайльд-Гарольда.

«О, прекрасная Греция! плачевный обломок древней славы! Тебя нет, и, однако, ты вечно бессмертна!

Кто будет ныне вождем твоих сынов, рассеянных по лицу земли? Кто изменит привычки столь долгого рабства?

Сердце тоскует по родине, когда нежные узы соединяют его с родительским кровом, сердце живет счастливо у домашнего очага... Но вы, одинокие странники, посетите Грецию и бросьте взгляд на страну столь же грустную, как и вы сами. Греция не внушит вам веселых мыслей!

Посетите эту священную страну, эти волшебные пустыни! Но щадите эти обломки; пусть рука ваша чтит этот край, и без того ограбленный многими!»

Продолжая размышлять и мечтать, Алкивиад приблизился к той развалине, которую зовут баней Клеопатры. Название это, конечно, не верно, ибо Никополь (город победы) был построен Августом и назван им так после гибели Антония и Клеопатры. Здание это не велико, и развалины его не имеют ни величия, ни изящества. Есть простые турецкие бани, которые гораздо больше и красивее. Алкивиад мало знал археологию и думал обо всем этом как простой путешественник. Он присел отдохнуть в тени этой развалины и только в ту минуту заметил, что неподалеку от него, около разрушенных ворот, стоят два оседланные мула. Слуга доктора разговаривал, сидя на траве в тени, с другим мальчиком в простой албанской одежде. Немного подальше стояли пред стеной два монаха; один из них, седой, показывал что-то руками, а другой, черноволосый, еще молодой и очень стройный, записывал в книжку карандашом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.